

Русская мысль. — Париж. — 1995. — 11 мая. — с. 11.
Булгаков, Сталин и Пугачев

Мариэтта Чудакова

«Таинственная связь» между властителем и жертвой

Осенью 1934 года — через полгода после неудачи с романом, через полгода после неудачи с еще одной попыткой поехать, наконец, за границу, после еще одного письма, на которое ответа также не последовало, после лечения от нервного срыва — Булгаков, задумав пьесу о Пушкине, пересмотрел, перечитал его сочинения — и, надо думать, почерпнул из них немало утешений.

Возможно, он пытался пушкинскими глазами смотреть на происходящее вокруг — подобно Ибрагиму, «с любопытством» смотревшему «на новорожденную столицу, которая поднималась из болота по манию самодержавия», являя собой «недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий» («Арап Петра Великого»).

Считал ли он Сталина великим человеком? По-видимому, да. Косвенным аргументом служит тот факт, что Елена Сергеевна не раз повторяла именно в связи с именем Сталина слова Булгакова: «О каждом великом человеке складывается легенда, но о каждом — своя, не похожая на других».

Он продолжал ожидать встречи, важного разговора со Сталиным (важного, как ему, вероятно, представлялось, для обоих). Его настроение в такие минуты, возможно, питалось много раз читанными строками «Арапа Петра Великого»: «Мысль быть сподвижником великого человека и совокуно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия».

Прошел еще год. Перемен в судьбе Булгакова и в особенно занимавшем его сюжете не было.

За два года — 1934 и 1935 — Сталин в глазах Булгакова показал себя не столько монархом, сколько добрым разбойником — одних казнит, других милует. Он позвонил домой одному поэту, чтобы обсудить с ним судьбу другого, написавшего про него, Сталина, «ужасные» (слово Е.С.Булгаковой в нашем разговоре с ней осенью 1969 года) стихи. Он прислушался к просьбе другого поэта — Ахматовой (Булгаков давал ей советы, как писать письмо Сталину, — в качестве признанного мастера жанра...) — и выпустил из тюрьмы ее мужа и сына.

Чувство личной связанности со Сталиным не убывало, а росло — у него лично, в его доме, где Сталин, по отзывам близких знакомых, был каждодневной темой. Пушкин давал, казалось, ключ к ситуации, которая на самом деле не имела аналогий, и аналогии мешали увидеть страшное лицо неслыханного мироустройства.

Подобно Гриневу, он стремился

разрешить через Сталина затруднения своей жизни, не изменяя своему «роду».

Без обращения к «Капитанской дочке», стоящей в сознании образованных русских рядом с фольклором — с колыбельной, сказками раннего детства и прибаутками няни или бабушки, нельзя соединить какой-то нитью письмо к Вересаеву с высокими оценками Сталина, письма к самому Сталину, замысел учебника (в написанной части — черновик истории Пугачевского восстания), месье Волаанда в романе.

Именно Пугачев «Капитанской дочке» навел ему мысль, что Сталин много крупнее своих злодеев-приспешников (в отличие от множества «верных ленинцев», ему ни о ком из

Он знал, что Пушкин не остерегся изобразить личные отношения дворянина и врага его сословия внутри театра страшных действий этого врага, приобретшего на время полноту власти, что в повести Пушкин как бы

и Гринева, и Машу Миронову. Пушкин начинает ценить в историческом деятеле способность проявить человеческую самостоятельность, не раствориться в поддерживающей его государственной бюрократии, законах, политической игре» (Ю.М.Лотман. Идеальная структура «Капитанской дочке», 1962).

Вглядываясь в пушкинские страницы более пристально, чем в лик современности, Булгаков, по-видимому, был близок к этому ходу мыслей о нынешнем властителе его страны.

Сама череда безответных писем к Сталину вызывалась, помимо вполне конкретного и страстного желания получить разрешение на отъезд за границу, стремлением доказать себе и другим, что личные отношения между двумя людьми возможны поверх политики и идеологии.

«Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан» (Гринева о Пугачеве).

Таковую же «таинственную связь», несомненно, ощущал и Булгаков — структура изображения Волаанда показывает это, даже если бы не было других свидетельств.

Напомним слова из письма Булгакова к Вересаеву в июле 1931 года о страстном желании получить ответ на свое письмо к Сталину «и узнать судьбу». Булгаков все искал встречи со Сталиным. Ведь он согласился весной 1930 года остаться, быть пленником, но почетным (потому, видимо, так волновала его всегда, по рассказам Е.С.Булгаковой, ария Кончака: «Нет, князь, не пленник ты мой, ты ведь гость у меня дорогой!..»), — и Сталин должен был отблагодарить его за отданную свободу и за искренность. Но тот сохранил ему жизнь — и почел это достаточным подарком (если продолжать размышлять об этой личности в булгаковских «классических» категориях).

Эту навязчивую идею лучше всего комментирует статья Цветасовой «Пушкин и Пугачев» (1937). «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, рас-



А.С.Пушкин. Автопортрет. 1829.

«простил» Пугачеву реки крови, им же самим и описанные прежде в «Истории Пугачевского бунта».

Пушкин как неиссякающий постоянный источник впечатлений и размышлений мешал рассмотреть ситуацию и личность вне «соблазнительных» классических параллелей. Он подсказывал также ядро ситуации — разбойник и губитель, лютый ко всем, кроме избранных, хотя и политически чуждых — к Булгакову, Пастернаку, Ахматовой, даже — до последнего года — к обидчику Мандельштаму.

Пугачев «поступает так, как ему велят не политические соображения, а человеческое чувство. Он милостив, следовательно, не последователен, ибо отступает от принципов, которые сам считает справедливыми. Но эта непоследовательность спасительна, ибо человечность таит в себе возможность более глубоких исторических концепций, чем социально-оправданные, но схематичные и социально-релятивные «законы» (...) В «Капитанской дочке» Пугачев наделен достаточной властью, чтобы самостоятельно и вопреки своим сподвижникам спасти



Емельян Пугачев. Рис. А.А.Плостова к «Капитанской дочке».

замученных и расстрелянных — от Каменева, запретившего «Собаачье сердце», до Ричарда Пикеля, гонителя его пьес, или Тухачевского, сражавшегося с Белой армией, — лично жалеть не приходилось).

«Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья» («Капитанская дочка»).

Булгаков знал, что он — в России, в истории которой пролились потоки крови; ее не удивить злодействами.



М.А.Булгаков. 1936.

ставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему» («Капитанская дочка»). Цветасова подмечает зорко: «так благодарность — не жжет».

«Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысли о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожили меня поневоле: «Емеля! Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык (...)».

«Чудные обстоятельства», упомянутые Гриневым, благодарность, даже «влечение к своему обратному — все это еще не дает и не создает любви», — категорически объявляет Цветасова и называет то единственное слово, «которое одно объясняет — все. Чара».

Пушкин Пугачевым зачарован. (...) Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой (...) — никакая благодарность не заставит. А чара и не то заставит (...). Чара (...) скрывает от тебя все злодейства врага, все его враждебство, оставляя только одно: твою к нему любовь.

В «Капитанской дочке» Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел».

«В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром, всю свою самосилу (зла) перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам неразрешимую загадку: злодеяния — и чистого сердца. Пушкин в Пугачеве дал нам доброго разбойника. И как же нам ему не поддаться (...)? Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Вышему, что есть: поэту в себе. Непогрешимому чутью поэта на пусть не бывшее, но могшее бы быть. Долженствовало бы быть».

В Волаанде перед нами — вся самосила зла, перекинутая на добро по отношению к избранным. «...Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — цитата из «Фауста», избранная эпиграфом ко всему роману, добавляет к герою романа, обозначенным заглавием («Мастер и Маргарита»), — третьего.

Цветасова обращает внимание на очень важный факт — «Капитанская дочка» попала в детское чтение и тем самым определила многое в самой структуре мифосозерцания русского интеллигента: «Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане: потому и семилетним детям давали, что думали — классическое. А классическое оказалось — магическое, и дети поняли, только дети одни и поняли...».

«Соблазн» русской литературы XIX века, для тех, кому предстояло взрослеть в России XX века, объявляет здесь о своем грозном значении.

Л.Я.Гинзбург посвятила этому специальное эссе, которое предполагала назвать «Цветасова и Пугачев» (по цензурным условиям мы решили с ней для публикации в «Тыняновском сборнике» изменить название); у Цветасовой «Пугачев хороший, потому что он благородный разбойник. (...) Грехи Пугачева перечислены; остальное не столь уж важно. И, главное, остальное не вызывает вопроса: как же это так, что мы за?»